

Игорь Шестков "Доносчица"

ДОНОСЧИЦА

Ее звали Гривнева Марина Валентиновна. Маленькая женщина. Сутулая. Личико как у карлицы. Старомодные очки на сморщенном лисьем носике. Колючие глазки. Неприятные рябые руки с короткими уродливыми пальцами. Экзема на шее, локтевых сгибах и щиколотках. Полное отсутствие груди, задницы, бедер. Прямоугольник. И к тому же доносчица.

Уже в детских мечтах она была не учителем и не врачом, а следователем.

Допрашивала предателей и диверсантов.

«Марина, – внушал ей отец-военный. – Мы живем в капиталистическом окружении. Все соцстраны с нами только до тех пор, пока мы сильны. Чуть что – изменят. А наше собственное население еще хуже, каждый третий враг народа. А может и каждый второй».

Стучать Гривнева начала еще в школе. Донесла на одноклассницу. Потом завучу – на классную руководительницу. Затем – в роно на директора. Хотела было после окончания десятилетки поступить на юридический факультет МГУ, но добрые люди отсоветовали – без блата пролезть туда было невозможно.

Гривнева поступила на физфак, ее окрыляла мыслишка о разоблачении физиков-вредителей. Училась неважно, но доносила на сокурсников исправно. За это ее распределили не на завод и не в провинцию, а в московский престижный научно-исследовательский институт.

Писала доносы Гривнева всегда ровно, спокойно, не преувеличивая и не преуменьшая. Подражала классической русской литературе.

За чаем говорили об исполнении советскими солдатами интернационального долга в Афганистане. Младший научный сотрудник Перепелкин называл помощь афганскому народу агрессией, позорной афганской войной. Портил всем настроение. Утверждал, что недопустимо посылать войска в чужие страны и убивать там местных жителей. Старший научный сотрудник Привыкин заявил, – если мы туда не войдем, то войдут американцы. На это Перепелкин

заметил, хохоча, что в Афганистане нет ничего кроме гор, пустыни и ослов, что американцы не такие дураки, лезть туда, где англичане за сорок лет войны ничего не добились. Мне кажется, коллектив скорее осуждает операцию в Афганистане, чем поддерживает. Видимо, многие не уверены в том, что официальное объяснение военных действий правдиво. Плохое впечатление на сотрудников лаборатории произвел призыв в армию и отправка в Афганистан сразу двух аспирантов нашей кафедры. Мое замечание о том, что СССР обязан заботиться об укреплении своих южных границ, Перепелкин прокомментировал сатирически – предложил позаботиться об укреплении границ СССР с Северным полюсом и послать на дрейфующие льды войска для подавления возможного путча белых медведей.

Старший научный сотрудник Эстонец-Красный заговорил о недавней высылке в Горький академика Сахарова и его жены. Он сказал, что давно пора дать по рукам этим, пригревшимся на груди народа, змеям, подчеркнул что ссылка в Горький – показатель гуманности и терпеливости советского руководства. Его мнение было поддержано всеми сотрудниками лаборатории, кроме Перепелкина, который, глумливо хихикая, заявил, что у змей нет рук, и что негоже великой атомной державе бояться старого больного ученого и его полуслепой жены. Допускал оскорбительные высказывания о руководстве КПСС и СССР (у стариков пережали реанимационные шланги, вот они и сбрендили, в Афганистан поперли и отца нашей водородной бомбы замариновали).

Возмущенный отпор инсинуациям Перепелкина дали следующие товарищи: Парторг лаборатории снс Лакишин, снс Привыкин, снс Эстонец-Красный. Согласно разнарядке, я намекнула, что академик Сахаров находится под каблуком Боннэр, матерой антисоветчицы. Привыкин заметил на это – муж и жена, одна сатана. Перепелкин сказал, что в будущем всем будет стыдно за то, что никто не вступается за Сахарова. Лакишин шутливо предложил Перепелкину вступиться. Перепелкин покраснел и покинул чаепитие. После его ухода разговор не касался важных политических тем.

Ни семьи, ни любви в жизни Гривневой не было. Но мужчины были, несмотря на ее отталкивающую внешность. Или благодаря ей. Последний ее любовник,

парторг лаборатории Лакшин, считался примерным семьянином. Регулярно покупал жене цветы. Участвовал в работе родительского комитета в школе, где учились его дочери.

Лакшин посещал квартиру своей любовницы каждую среду. Солидный седеющий мужчина, доктор физико-математических наук, руководитель семинаров, изобретатель и неизменный председатель избирательной комиссии превращался тут в сладострастного кобеля. Уже в прихожей Лакшин скидывал одежду, завязывал себе на шее бантик, на ноги и руки надевал мягкие болгарские тапочки в форме собачьих лап. Служил, давал лапу. Гривнева надевала безрукавку из мягкого козьего меха. С бирюльками и дырками для сосков. На руки и ноги напяливала, как и Лакшин, собачьи тапочки.

Шумно лакали из поставленной на пол глубокой тарелки красное крепленое вино. Опьянев, гонялись друг за другом по старому ковру, на котором валялись разноцветные шелковые подушечки. Играли в собачек. Проигрыватель аккорд изрыгал марш «Прощание славянки» в исполнении краснознаменного оркестра армии и флота. Кобель бегал за сучкой, сучка виляла задом, убегала от кобеля, тряся бирюльками. Догнав Гривневу, парторг грубо хватал ее за соски, а она расставляла пошире ноги, чтобы он мог поглубже всунуть свой длинный толстый нос в ее заскорузлую промежность. Во время последующего спаривания отрывисто и натужно лаяли, рычали, выли и тряслись. Да так громко, что соседи начинали названивать. Им не открывали...

Дома Лакшин заискивал перед женой и дочерьми. Ему было стыдно. В наказание самому себе стирал для всей семьи. Вручную, хотя у них и была стиральная машина. Тер теркой детское мыло. Замачивал и затирал кровавые пятна на нижнем белье жены. А на партсобраниях особенно яростно осуждал и травил тех, кого велено было осуждать и травить.

Гривневу совесть не мучила. Она принимала душ, листала «Новый мир», а затем уезжала в Фили ухаживать за старой матерью. По дороге покупала продукты. К матери в квартиру входила бодрая, веселая, деловая... Говорила звонко, громко... «Мамочка, как поживаешь? Ничего, ничего, простынку мы новую положим, сухую, она кусать мамочку не будет... Что? Нет, погода прекрасная, дождь со

снегом. Как на работе? Все прекрасно, диссертация почти готова, коллеги – умные, интересные люди, климат в лаборатории замечательный, ко мне относятся с уважением...»

Мать Гривневой, бывшая партийная работница, страдала старческим слабоумием. Ее дочь каждый день бывала у нее, ухаживала, готовила, убиралась. Ни за что не хотела сдавать в дом для престарелых. Может быть потому, что мать была единственным близким ей человеком. Собачья любовь с Лакшиным за рамки чувственного не выходила... С коллегами по лаборатории ее отношения напоминали отношения автора со своими героями. Отец умер двадцать лет назад. Брат Аркадий жил в Ленинграде и знать ее не хотел. Пил дешёвый портвейн, вырезал лобзиком скабрзные картинки и напевал часами пахабную песню на мотив Землянки.

«Мама, сегодня мыться!»

«Нет, не надо, не хочу. Опять Каганович будет подсматривать! И мыло украдет. Сегодня опять меня душил, сионист, убийца в белых халатах...»

«Мама, он что, сразу несколько халатов носит?»

«Ты его еще не знаешь! Он голый! Здесь, под кроватью! Посмотри, посмотри, усищи видно!»

Гривнева демонстративно отдергивала простыню и глядела вниз – мать лежала на диване, залезть под который и кошка бы не смогла.

«Нету усов под диваном, мамочка, все хорошо, не беспокойся...»

«Лазарь наверно в стенном шкафу прохлаждается...»

«Стенной шкаф был в старой квартире. Нету его, ни в шкафу, ни в холодильнике...»

Мать Гривневой знала Кагановича еще по Украине, где Лазарь Моисеевич был первый секретарь, а она работала в аппарате... Каганович был ее идеей фикс. Он подглядывал за ней в ванной, кусал ее за пальцы, бил ночью по голове подушкой, шевелил в темноте огромными черными усами, а по утрам душил.

«Ну, вставай, мамочка, ванна полная. Вода не горячая, приятная. Полежишь, я тебя помою, вытру, будешь сверкать как ёлочная игрушка...»

«А Каганович воду не отравит?»

«Нет, нет, что ты? Никто воду не отравит. Московская хорошая водичка. Не то, что у нас в Люберцах, вонючая вода. Чистая, голубоватенькая, тепленькая. С хлоркой».

«Каганович всю воду в Москве выпил!»

«Нет, мамочка, немножко водички осталось. Вот, головку мамочке вымоем... А если мамочка будет смирной, дадим ей мороженое... Сливочное, по сорок восемь копеечек...»

«Не хочу сливочное, хочу орден Ленина!»

«Будет тебе орден, будет. И Ленина и Сталина и злого татарина».

«Только не надо орден Кагановича! Он такой противный, все время жужжит и под мышки лезет... Как метрпоезд. Вжу-вжу-вжу... И уже под мышками».

«Неет, мы никому не позволим мамочке под мышки лезть, ни Лазарю, ни Моисею, ни дяде Евсею, пусть они друг другу под мышки лазиют! Ну вот, теперь вытираться!»

Вчера в актовом зале по инициативе институтского киноклуба и работников кинотеатра «Иллюзион» была показана французская картина «Большая жратва». Почти все сотрудники присутствовали на сеансе. Затем обсуждали фильм в лаборатории. Эстонец-Красный, который, выполняя партийное задание, жил несколько лет в Париже, вслух порицал картину, а украдкой утирал слезы. Перепелкин рассуждал о закате Европы. Потом прибавил не к месту – «нам бы такой закат». А заключил свою речь следующей издевательской сентенцией – хоть один раз в жизни на весь институт добыть бы столько мяса, сколько эти Местрояни за один фильм слопали. Нажраться от пуза. Лакшин уточнил, что много мяса только у буржуев, а пролетарии в капстранах ходят голодные. Сладкоежка и автолюбитель Привыкин поддержал Перепелкина, заявив – «а я бы такой тортик попробовал, какой у них там, ой, попробовал бы, и на Бугатти тоже покатался бы с удовольствием». После этого все возбудились и начали хвалить все, что видели и слышали в фильме. Женщины восхищались роскошью обстановки, элегантной одеждой. Эстонец-Красный говорил об архитектурных особенностях виллы Буало и о меланхолической мелодии зимнего Парижа. Секретарша Мочалкина

тоже заплакала – так ей понравились пенюары.

Я сказала, что фильм упаднический, порнографический. Демонстрирует пассивность и распущенность зажиточного класса в эксплуататорском обществе. Перепелкин сделал странное заявление – СССР погибнет из-за того, что порнография в нем запрещена, мужчины всегда будут тайно на стороне той общественной системы, где можно свободно смотреть порнуху. Привыкин сказал – СССР погибнет? И не мечтай!

Не знаю, кому можно в лаборатории доверять. Я знакома со многими сотрудниками уже больше пятнадцати лет и, тем не менее, должна признаться, – я не знаю, что они на самом деле думают, что замышляют... Мне становится страшно от мысли, что они не контролируют себя сами...

В пятницу с Гривневой беседовали. Некто капитан Мальков, старый мальчик с лицом барса говорил, не скрывая раздражения: «Поконкретнее, пожалуйста, пишите. Расставляйте акценты. Ваш любовник, товарищ Гривнева, этот Лакшин, намылился в Израиль. Подал заявление на выезд. Дикое, не по правилам. Через голову прыгнуть решил. Вместе со всей семьей. А вы нам ничего не сообщаете! Может быть, и вы с ним хотите поехать? Жена, дочери и пуделек на поводке?»

Гривнева оторопела. Затем взяла себя в руки и отчеканила: «Пишу как могу. И прошу не забывать – я сошлась с ним по вашему прямому указанию. О подаче документов на выезд я ничего не знала. Я не гипнотизер. Связь с ним сейчас же прекращу».

Мальков скривил прыщавый рот, но смягчился: «Не горячитесь, Марина Валентиновна... Мы вас ценим... А насчет Лакшина... Прошу вас связь не прерывать, а наоборот, особенно внимательно... Приглядеть... Послушать... Лакшин посвящен, как вы знаете, в конструктивные детали важного для обороноспособности нашей страны проекта, у него высокий допуск, мы его, конечно, за границу не выпустим. Он не глуп и это понимает. А заявление все-таки подал. Что за этим кроется? Наивность? Или что-то большое? Может быть, он ищет канал для передачи государственных секретов иностранной разведке.

Следы замечает. Или, может быть, уже нашел? Давно нашел. И течет по этому каналу секретная информация из института. А вы нам его возражения на лабораторских чаях цитируете. Перепелкина закладываете. А он и так наш человек».

«Как?»

«А так, про принцип двойной бухгалтерии слышали? Прошу вас о нашем разговоре ему не говорить. Работайте и дальше, как раньше. Лакшина попробуйте разговорить. Проследите его контакты. И помните – время у вас в обрез. Не получится разговорами, применим к товарищу Лакшину другие методы воздействия. Санкция получена. Не забудьте в кассе ваши сорок рубриков получить... Вот бумажка... На втором этаже, сектор И».

В следующую среду Лакшина ждал в квартире Гривневой сюрприз. Любовница его была одета в ненавидимое им бардовое платье. Вместо приветствия сказала мрачно: «Борис, есть серьезный разговор, пойдем на кухню».

Как будто трупным запахом обдала. Лакшин понял, что собачьей свадьбы не будет. Не будет красного вина, «Прощания славянки» и козьей телогрейки с бирюльками. Понял, что Гривнева знает про Израиль. И про то.

В кухне сели на табуреты, Гривнева налила крепкий чай в стаканы. Положила на стол белый хлеб, сливочное масло и любительскую колбасу. Лакшин есть не мог. Взял подстаканник и начал нервно его вертеть своими большими розовыми руками с ногтями лопатой... Читал почему-то еще и еще раз надпись на подстаканнике – «Слава покорителям космоса!». Она казалась ему особенно гнусной...

«Откуда ты знаешь?»

«Не важно».

«Выпустят?»

«Нет».

«Другое знают?»

«Борис, как ты мог, ты же парторг! У тебе же дети!»

«Для детей и старался. Что делать?»

«Иди к ним сам».

«Семью не тронут?»

«Может быть, даже выпустят».

«А меня?»

«Если сам все расскажешь, дадут десять, начнешь вертеться, убьют».

«Значит, не видать мне Яффы?»

«Только, если станешь работать на контору».

«Время у меня есть?»

«Мало».

Приехал Лакшин домой раньше обычного. Лика ушла за покупками. Дочки торчали у подружек. Лакшин открыл нижнюю, запирающуюся на ключ, полку письменного стола, вынул оттуда тоненькую папочку с несколькими листочками и фотографиями, разорвал все в клочки и унес остатки в кухню. Положил их там в кастрюлю и неловко зажёл. Помешал пальцем пепел. Обжёгся. Пососал палец. Достал из холодильника любимый пирог с капустой. Отрезал кусок и, не торопясь, съел его, потом торжественно открыл на кухне окно и, ни секунды не колеблясь, прыгнул в пустоту, неловко растопырив руки.

Он упал прямо перед их подъездом. Как раз в тот момент, когда к двери подошла его жена Лика с двумя полными авоськами. Лике показалось, что кто-то ударил ее молотком в ухо и обрызгал. Она резко обернулась и увидела черную фигуру на асфальте. С разных сторон двора к фигуре бежали люди. Вдохнула сырой московский воздух, а выдохнуть не смогла. Смахнула зачем-то капли крови с воротника пальто. Села на грязную ступеньку. Хотела крикнуть: «Помогите!» Но крикнуть не получилось, тяжелая грязная улица поднялась и ударила Лику в висок.

К сожалению, проследить контакты покойного Лакшина мне не удалось.

Его смерть была спокойно воспринята в коллективе. На похоронах присутствовали родственники и официально уполномоченные парткома института. Кроме того на похороны пришли бывшие однокурсники Лакшина, в

том числе отъявленный диссидент Бабицкий.

Бабицкий выступал на гражданской панихиде. Из его речи мне запомнились следующие пассажи – «Самый подлый и опасный миф, который вбивают нам в голову с детства, это миф о верховенстве государства. Оно провозглашается идеологами главным субъектом существования. Каждая смерть, и особенно смерть друга, доказывает ложь подобной конструкции. Государства нет. Есть только ты, я, друзья, родные... Есть человек, есть дерево, а государства нет. И каждый, кто внушает тебе, что не ты, и не твой ребенок являются главными носителями бытия, а некая антропоморфная абстракция, – мерзавец.

Утопическое государство с идеальным общественным устройством играет роль приманки, смотря на которую, бегут по жизни, как белки в колесе, люди... Мы не колесики в вашем государстве-олигофрене, не его рабы и не его клетки. Мы – единственная цель природы, носители чувства и разума. А коммунистический истукан – только прикрытие для узурпирующих власть скотов...»

Я рассматриваю высказывания Бабицкого как особо злостную провокацию против нашей коммунистической идеологии и советского государства.

Странно, что никто из членов парткома института не дал отпор этой диверсии. Испугались. Или сочувствуют? Надо проверить. Каждого.

Персонально. У меня нет на это сил. Помогите.

На сороковой день после смерти Лакшина Гривнева сломалась.

Приехала вечером от матери усталая и злая. Восемь часов на работе, дорога, магазины, хлопоты у матери, еще одна дорога... Недалеко от дома к Гривневой пристал какой-то солдат. Вынырнул из подворотни, схватил за плечо, посмотрел в глаза мученически и попросил, слегка заикаясь: «Пойдем со мной, тетя...

Ппойдем!»

Гривнева гневно посмотрела на солдата, оторвала его руку от своего жилистого плеча и выпалила: «Канай отсюда, служивый, ловли нет!» Так выражаться ее научили знакомые с блатными работодатели. Солдат выпучил глаза и проямлил: «Ккакие они ггордые! Ттёлки! Лладно...» И исчез в темноте.

Дома ожидала одна морока. Живот почему-то схватило. Кашу пришлось варить

овсяную. Гривнева долго мешала кашу, потом отвлеклась, вышла на минутку. Каша пригорела. Есть было неприятно. Индийский чай из заказа. Печенье курабье. Телевизор даже не включала, скучно, тягомотина... Решила было начать составлять донесение, но ничего важного припомнить не смогла. Только о мелочах говорили. Даже вспоминать было противно. Долго гладила белье. Подумала, что зря не пошла с солдатиком. Никто никогда не хотел ее так, просто... Всех своих любовников Гривнева завоевывала сама, боролась за них, интриговала, совращала... По приказу... В памяти как кит из пучины всплыли почему-то давно забытые строки стихотворения, выученного для выпускного экзамена по литературе. «Жизни мышья беготня... Что тревожишь ты меня... Что ты значишь, скучный шепот... Укоризна или ропот... Мной утраченного дня...» Легла спать в маленькой спальне. Небольшая лежанка стояла напротив окна. Гривнева не закрывала штор, любила, лежа, смотреть на окна соседних домов. Гадала – не покажется ли в небе звездочка. В чужих окнах мелькали темные фигуры, оттуда доносились крики младенца, вопли... Жизни мышья беготня, – подумала Гривнева и заснула.

Проснулась она от грохота в ушах.

Что-то било, звенело, грохотало. В три часа ночи. Гривнева в ужасе зажала уши руками. Разжала... Тишина. Тихо было в спальне до боли в ушах... Гривнева встала, подошла к окну и сразу поняла, что попала в какой-то другой мир. Мир одного мгновенья, затянувшегося на вечность. В окнах соседних домов – ни огонька. И на улице темно. Фонари не горят. Серый свет, как туман. Висит. Деревья застыли. Все как будто из воска вылеплено. Или из папье-маше. Асфальт в каких-то грязных струпьях. Стены домов облупились. Вот-вот обрушатся и покажут домашние внутренности... Кора на деревьях местами отслоилась и отвалилась... Небо – не бездонное пространство, а серый шатер, старый, дырявый. Через дыры просвечивает не темная голубизна со звездами, а черная зловещая пустота...

Стало Гривневой страшно. Показалось, что сердце остановилось. В ужасе стала она искать на запястье пульс – и не нашла. Решила встать под холодный душ, авось морок и пропадет. Отвернула краны, а вода полилась сухая, как песок. Ринулась в кухню. Открыла холодильник, схватила треугольный пакет с

молоком, прыснула в горло, – но ни холода, ни текущего молока не почувствовала. Молоко было как горячий воздух...

Подошла к окну. Впиалась глазами в мертвое пространство. И заметила тень. Тень от чего-то большого, от дирижабля что ли, медленно ползла по асфальту.

Мысли скакали в голове как лягушки в банке, пытались выпрыгнуть, но не доставали до краев. Тень? Какая тень, если солнца нет? Дура, вот оно солнце, как же я его раньше не увидела. Или это Луна? Нет, черное солнце. Или черная дыра? Дьявольщина. Все правильно – солнце черное, а тени серые. Где этот дирижабль? Во, во... Летит... Да это... Боженька!... Это же собака огромная. А голова у нее человеческая. И бантик на шее... Лакшин это.

Да, это был ее любовник, старший научный сотрудник Лакшин. Ее верный кобель. Даже тапочки на нем были те. Только не цветастые, а серые. И все тело было серое, с пятнами. Из резины... Надутое.

Дирижабль медленно подлетел к окну Гривневой. Лакшин постучал лапой в стекло. И вытарачил на нее свои мертвые глаза.

«Милочка, крошечка... Кр-кр... Каааак ты без меня? Корраблик воздушный построила? Без корраблика ползать придется... Ходить-то тут нельзя...

Провалиться можно. Земля не держит...»

«Что это? Где мы, Борис?»

«Мы в нигде... А нигде в нас... Не бойся, маленькая... Я дам тебе свой корраблик. Полетаем над Москвой... Твой барбосик тебя не укусит в носик... У-у-у-умер парторг Лакшин. Дай, дай мне лапу!»

Гривнева протянула дрожащую руку прямо через стекло. Стекло мягко поддалось и пропустило. Страшный летающий пес схватил лапой руку и приказал: «Тяни!»

Гривнева потянула и втащила Лакшина мордой вперед в спальню. Прямо через стекло и раму. Лакшин был такой большой, что смог влезть в комнату только наполовину, задние его лапы и хвост остались на улице...

Гривнева спросила: «Я сплю, ответь!»

Голова ответила: «Ты и не просыпалась никогда».

«Что же будет?»

«Будем как дирижаблики летать... Наа воздушном океане... Беез руля и без ветрил...»

«И я?»

«И ты и я и Мальков. Такая разрядка, кому по делам, кому по вере, а нам – по моррде... Меня, вишь... В команду сфинксов определили. Кр-кр-кр... Кроватку тебе надо сменить. Давно хотел сказать, но вот видишь, заигрался на лягушачьем клавишине, запомятовал...»

«Скажи, скажи, что будет...»

Голова разозлилась: «Дальше ничего не будет! Сколько можно повторять. Девушка, не хочешь пожевать носки старичка Молотова? Они ладаном пахнут. Вот, в метро людишек полно и все носочки жуют... А старушки крашенные яички кушают. Гопца-гопца-гопца-ца! Поиграем в косточки?»

Тут голова открыла страшный мертвый рот и Гривнева увидела, что под языком у нее лежит белая игральная кость. Кость эта лопнула с треском и из нее вылезла принцесса Турандот. Ее тело из светящегося нефрита, а глаза из нежной бирюзы...

Принцесса Турандот подошла к Гривневой. Положила ей руки на плечи, притянула к себе и прижалась...

На следующий день Гривнева объявила шефу лаборатории Шанскому, что она дочь императора Альтоума. Тот был тертый калач, начальствовал еще при Берии. Успокоил ее и скорую вызвал.

А через неделю на стол Малькова легло последнее донесение Гривневой.

Дорогие персидские принцы!

Холоден нефрит, а свет – еще холоднее нефрита. Из него можно только китайский фарфор делать. Прошу вас, красьте волосы только в облаках. Иначе у вас заведутся червячки. Я покрасила мои кудри в Москве-реке. И с тех пор меня жрет червь. Слышите, как колокольчики звенят? Это на Ленинских горах лыжники с трамплина прыгают. Меня туда папа водил. Я думала – это белое блюдо, а папа сказал – это Москва. Там с неба падает замерзшее молоко. На

земле лежат ириски. А у всех деток леденцы как воздушные шарики. На ниточках.

Говорят, на Лобное место пускают только по приглашениям. А приглашения собачка выдает. В царской башне на цепи сидит, дворняга ученая. Говорить научилась и писать. Как проснется — начинает строчить, а кузены читают и нахваливают. Деловые! Славные ребята, эти кузены. С пылесосами ходят. Несмотря на то, что они коты. Красную площадь когтыми исскребли! Вот шкоды. Одни булжники остались. И невесты. Там пирожные прямо с храма продают. От куполов отрезают. Там стены из красного мармелада стоят. А в могилках личинки розовые. В черной норе куколка лежит. Хотите за носик потянуть? В карманчике платочек. Зубки желтенькие оскалила, может и сопельки пустить. Лобик как лобок. А пальчики у нее из пастилы. На щечках волосики нейлоновые. А на ногах лаковые сапожки. В обувном у «Прогресса» из под прилавка продают. Берите, носите. Мне три батона и ситец на блузочку. И полкило кураги. Ну я пошла! Полетела птичка певчая. На обратной стороне Москвы гнездышко свила. Не ходите за мной, мальчики, туда трефовым королям нельзя. Там лимоны в прятки играют. И боженька на пеньке сидит, мелочь пересчитывает. Пятачки и гривеннички — в лукошко кладет, а копеечки под ноги бросает. Чтобы кукушке куковать не расхотелось...

О дальнейшей жизни Гривневой известно немного. Три месяца в году она проводила в больнице. Во время обходов и процедур умоляла, чтобы ее не мучили. Остальное время жила дома. Когда ей рассказали о смерти матери — даже не заплакала. Только спросила, прилетали ли желтые аисты на похороны. К Гривневой приходила медсестра. Помогали соседи. Бывшие коллеги по институту ее не навещали. Ни работать, ни писать донесения она не могла. Не буйствовала, домашнее хозяйство вела сама, покупала продукты и за собой ухаживала как умела. Сидела на своей лежанке. Смотрела в окно. Смеялась. Разговаривала с кем-то. Так и прожила почти тридцать лет. Умерла дома во сне. Наследников у Гривневой не было. Соседи забрали книги. Остальное барахло выкинули на помойку. Не было и людей, готовых оплатить ее похороны.

Невостребованный труп Гривневой пять месяцев лежал в морге люберецкой районной больницы. Тело кремировали и похоронили за казенный счет.